

Бениамин Таммуз

Реквием по Наоману



Бениамин Таммуз

Реквием по Наоману

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2806325

Реквием по Наоману / Б. Таммуз. Сон в ночь Таммуза / Д. Шахар / [Пер. с иврита Э. Бауш].: СИВАН, КНИГА–СЭФЕР; Тель-Авив, Москва; 2006

Аннотация

«Реквием по Наоману» – семейная сага. Охватывает жизнь многочисленного семейного клана с 90-х годов XIX в. до 70-х XX-го.

Бениамин Таммуз построил свою сагу о семье Фройки-Эфраима подобно фолкнеровской истории семьи Компсон, пионеров, отважно осваивавших новые земли, но в течение поколений деградировавших до немого Бенджи (роман «Шум и ярость»). Шекспировские страсти нависали роком над еврейской семьей с Украины, совершившей, по сути, подвиг, покинув чреватую погромами, но все же хлебосольную Украину во имя возобновления жизни своих древних предков на обездоленной, тысячелетиями пустынной, хоть и Обетованной земле.

Содержание

Под знаком Таммуза	4
Хроника семейных речей (1895–1974)	10
1	10
2	17
3	20
4	27
5	28
6	34
7	37
8	41
9	44
10	46
11	51
12	56
13	58
14	64
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Бениамин Таммуз

Реквием по Нааману

Под знаком Таммуза

*Все образы в романе вымышлены, и любое
совпадение их с реальностью случайно*

Таммуз – месяц еврейского календаря, четвертый по Библии, десятый в более позднее время.

Семнадцатое число летнего месяца Таммуз, согласно Талмуду, – дата великой скорби, ибо в этот день пророк Моисей в гневе разбил скрижали Завета, в этот день прекратили богослужение в Храме во время осады Иерусалима римлянами. И это ощущение осады и безвыходности из теснин смерти длится три недели – с этого дня до девятого Ава, когда был сожжен императором Титом Иерусалимский Храм.

Но Таммуз это еще имя языческого бога финикийцев, которых древние евреи называли «кнааним», то есть «ханаанцами». Вместе с Астартой (Ашторет, Иштар) и Ваалом Таммуз возглавлял пантеон семитских богов и божков – весьма оргиастическую культуру до возникновения иудейского монотеизма. Раскопки в Угарите возбудили интерес к этой культуре, что самое удивительное, у выходцев из восточной

Европы. Уроженец Варшавы Уриэль Шелах (Гальперин), который в одиннадцатилетнем возрасте приехал в 1919 году в страну Израиля, и родившийся в том же 1919 в Харькове Бениамин Камерштейн, которого родители пятилетним ребенком привезли в Тель-Авив, основали группу израильских интеллектуалов «Младо-евреи» или «Ханаанцы».

Первый взял псевдоним Ионатан Ратош, став крупнейшим ивритским поэтом.

Второй взял псевдоним Бениамин Таммуз, став крупнейшим ивритским прозаиком.

По мнению «ханаанцев», резко выступавших против порожденной диаспорой религиозной покорности и вообще против религий, свежесть и раскованность языческих чувств, несомых идолами древней Финикии-Ханаана, может возродить потерянный в тысячелетиях истинный образ потомков праотца Авраама Аиври – «Авраама-еврея», как написано в Торе. Потому они называли себя «иврим» (евреями) в противовес «иудеям», перелагали на современный иврит мифы Ханаана, романтизируя имена Таммуза, Ваала и Астарты.

В представляемой читателю книге «Таммуз» является именем автора первого романа «Реквием по Нааману» и именем героя второго романа «Сон в ночь Таммуза». Автором первого романа является Бениамин Таммуз. Автором второго – Давид Шахар. Оба романа в свое время стали бестселлерами и были переведены на многие языки мира.

Бениамин Таммуз был известен как скульптор, он учился в Париже. Первая его книга «Золотые пески» вышла в 1951 году. В ней он описывает свое детство в Тель-Авиве. После этого вышли десятки его книг, и посвящены они, главным образом, молодым людям, ищущим путь в жизни.

Таммуза можно назвать «автором печального образа» по его отношению ко всему, что происходит вокруг. Потому и юмор у него особый, порой доходящий до острейшей сатиры, и все же смягчаемый щемящей душу сентиментальностью. Именно это сочетание, да еще и своеобразный язык, вывели Таммуза в первый ряд израильских прозаиков. Он становится известным после перевода на европейские языки романов «Эльяким»(1965), «На крайнем западе»(1967), книгой «Хамелеон и соловей», которую назвал своей «духовной автобиографией». Роман Таммуза «Минотавр» Грэм Грин назвал лучшим романом 1980 года в мировой литературе.

Один из основных романов Таммуза «Реквием по Нааману», вышедший в свет в 1978 году, представляет собой сагу о семье, которую Фройке-Эфраим привез на землю Израиля еще в конце XIX века. С присущим автору печальным юмором и вместе с тем глубоким ощущением силы жизни, Бениамин Таммуз доводит свое повествование до 1974 года.

Автор второго романа, публикуемого в этой книге, «Сон в ночь Таммуза», Давид Шахар – единственный в новой ивритской литературе писатель, предпринявший грандиозную попытку создать разветвленную художественную систему, раз-

ворачивающуюся циклом романов под общим названием «Храм разбитых сосудов» («Хейкал акелим ашвурим»). Второе название цикла – «Луриана», по имени одного из главных героев Габриэля Ионатана Лурия, которое в свою очередь связано с именем великого каббалиста Ицхака Лурия, чье сокращенное имя – АРИ (Ашкенази (Адонеину) Рабби Ицхак (1534–1572)).

В чем смысл названия цикла «Храм разбитых сосудов»?

В одном из интервью Давид Шахар дал такое объяснение: «Разбивание сосудов – понятие, введенное АРИ. Это, по сути, одна из идей, к которой пришел человек в поисках ответа на вопрос: если Всевышний сотворяет лишь добро, откуда зло в этом мире? Ответ АРИ таков: Богу (АРИ называет его «Эйн-Соф» – «Бесконечность») для создания физического мира необходимо было место. Но так как бесконечность заполняет все, следовало ее сжать, сократить и найти свободную точку, из которой возникнет материальный мир. Но сам по себе он лишен смысла. Содержание и смысл он может обрести, когда в него вдохнут дух, душу. И тогда Бог ввел в этот мир один-единственный Божественный луч, но мир не выдержал его и взорвался. Другими словами, 400 лет назад АРИ пришел к выводу, что мир является продуктом «большого взрыва», и все мы родились в этом взорванном мире. Каждый из нас – малый осколок, несущий в себе каплю того Божественного луча света. Мы все – плоды взрыва, в результате которого в этом мире нет ничего, что находилось

бы на своем месте. Мы – осколки разбитых сосудов. Как же это исправить? Бесконечность обладает слишком большой мощью, чтобы можно было на нее повлиять. Но каждый может исправить самого себя. Основой этого является его единственное и неповторимое бытие, самое интимное и личностное. Это переживание я ощутил в детстве, здесь, в Иерусалиме, как и АРИ. Это открытие могло настичь или застичь его только в Иерусалиме...»

Цикл романов, некая парабола, не может быть завершен. Он может оборваться неожиданно с жизнью автора, но по самой своей концепции остается открытым. И уход автора из жизни кажется досадной случайностью в созданном и уже без него развивающемся мире.

Физическая любовь, несущая в себе духовное слияние любящих душ, согласно Каббале, одно из главенствующих чувств, пронизывающих мироздание, сотворенное Богом. Особенно широко тема любви, земной и вечной, выражена в предлагаемом нами читателю романе «Сон в ночь Таммуза».

В одном из последних своих интервью на вопрос: «Не кажется ли вам, что Габриэль Ионатан Лурия все еще не осуществил обещанное в начале своего пути?» Давид Шахар отвечает: «Габриэль возвращается в романе «Сон в ночь Таммуза» двадцатилетним, то есть речь здесь идет о периоде его жизни еще до начала первого романа «Лето на улице Пророков». В конце романа «Сон в ночь Таммуза» есть некое прозрение героя, а точнее, автора, которое я бы назвал – «Судеб-

ный процесс, возбужденный потерянными раем против автора-творца». Подсудимый старается отдать себе отчет об отношении между творцом и творением, между Создателем и его созданием. Это – главное место в романе и, в определенной степени, во всем цикле. Речь о внешней оболочке жизни и нагой душе, скрытой под этой оболочкой («клипа» – понятие из книги «Зоар»), которую человек всю свою жизнь пытается пробить. Любопытно, что это заметила именно французская критика тотчас же после выхода перевода романа».

И все же, прежде всего, Давид Шахар по сути своей, миропониманию и душевному складу – истинно национальный, ивритский, израильский, еврейский писатель.

Эфраим Баух

Хроника семейных речей (1895–1974)

1

У везучих самоубийц всегда под рукой оказываются бумага и карандаш, и они пишут нам, объясняя свой поступок; вопреки тому, с чем мы никогда не смиримся и не согласимся, и все же каким-то образом круг замыкается и можно успокаивать себя, что вроде бы ничего не было запущено или упущено. У невезучих же самоубийц сознание настолько уходит в подкорку, что они вместо писания записок говорят с самими собой, и кажется им, что это доходит до нас, ведь мы их близкие. Делают они это вовсе не со зла, но в результате этого в конце концов явно не будет хватать какого-то звена, соединяющего мертвых с живыми; откуда же – с отсутствием этого звена, пусть совсем слабого, – произрастет культура?

Была у нас в мошаве женщина в девяностые годы девятнадцатого столетия по имени Белла-Яффа. Мужа ее звали Фройке-Эфраим. И были у них сын и дочь – Нааман и Сарра. А также были у них семьдесят дунамов зерновых и двадцать пять дунамов миндальных деревьев и виноградников, дом, конюшни и коровник, во дворе гуляли голуби и куры, а вся-

ческая зелень произрастала на грядках за коровником.

Ночью месяц заливает зеленоватым светом поверхность двора, железный и древесный хлам, разбросанный вокруг, мерцает и колышется, подобно живым существам, и Белла-Яффа облокачивается на поручень ее он тоже выходит и кладет руку на плечо жены, и ведет ее в спальню, и тогда жена говорит:

– Ты погляди, Фройке, какое волшебство вокруг, какая невероятная печаль.

И муж говорит:

– Белла, что с детьми будет, что?»

В конце того года, осенью, за неделю до праздников, когда муж пошел в контору проверить счета, оседлала Белла белого коня и ускакала из мошава. Дети в школе рассказывали потом, что видели ее скачущей в сторону оврагов.

К вечеру она пересекла Саронскую долину и всю ночь скакала на север. К утру добралась до холмов и долов между ними, привязала коня к акации и далее пошла пешком в сторону какого-то строения у подножья холма. Когда небо развиднелось, увидела Белла-Яффа позади каменных груд дерева и скалистый спуск, замыкающий горизонт. Она пыталась вспомнить названия этих деревьев, но так и не смогла. Тогда она достала из рюкзака бутылку и откупорила ее.

И вот слова, которые сказала в сердце своем жена мужу и детям: «Я пытаюсь вспомнить, когда это началось. Быть может, когда мне было пять или шесть, отец усадил меня в

телегу и повез на свадьбу в соседнее местечко. Мы выехали рано из города, и я впервые в жизни увидела пространства, поля золотистого цвета, аллеи тонких белоствольных деревьев с черными пятнами. Тонконогие эти деревья бегут нагими привидениями в бесконечность. У меня брызнули слезы и отец взял меня на руки, завернул в свой тулуп, шептал мне на ухо: “Не смотри на эту скверну, Белла. Фальшивое колдовство, гойские бредни. Когда-нибудь мы уедем отсюда на родину наших праотцов... Там ты увидишь настоящие деревья, ливанские кедры... Освобождение наше близко... еще год, два, с Божьей помощью мы ступим на землю Святая Святых, которая была осквернена и сожжена...”

После возвращения с той свадьбы в душе моей поселилось сильнейшее желание, истинная страсть вернуться к тем полям. Бежать вместе с тонкими березками, столь проклятыми моим отцом, дрожащими, почти парящими в эти невероятные дали. И вместе с тем я понимала, что если буду бежать с ними, добегу до гор, покрытых кедрами, и не надо мне будет ждать год или два, что казалось мне вечностью... Фройка, дорогой, ты привез меня в страну, которая снилась моему отцу, а я плачу тебе злом за добро... Почему ты никогда не спрашивал меня, зачем я подливаю яд в чашу спасения? Почему ты любил меня, такую нехорошую? Если бы ты спросил, если бы желал выслушать, я бы тебе рассказала... Ты настолько счастлив своим трудом на полях и виноградниках, радуешься нашим детям, что прощаешь жене, слоняющейся

по твоему дому как привидение, по дому, в котором ты и отец и мать – мне и детям... А я, ну вот я, и со мной то, что я увидела с телеги отца – мое первое и последнее открытие. Добавь еще к этому песни тех земель, ну, названия цветов и деревьев, которые я шептала во сне... Где, где те кедры, Фройке? Вот, я вижу рядом с руинами деревья, которые мне неизвестны, никогда не узнаю их имен... Может быть, отцы отцов наших, древние люди пустыни, знали их имена. Я их не знаю. Невозможно знать вещи, которые исчезли тысячи лет назад. Любить можно лишь то, что росло и произрастало у твоих босых ног, на заре твоего детства, Фройке. Я подозреваю, что ты лжешь, говоря, что любишь это запустенье... Но как я могу тебе это сказать, ты выглядишь счастливым, уверенным, поливаешь потом лица своего эти скалистые земли вокруг этого маленького чуждого домика, который построил своими руками, хаты без соломенной крыши, без глиняной печи, без трубы...

Прости меня, Фройке, душа моя изошла тоской по местам, которые отец мой проклял страшными проклятиями. Если бы ты разговаривал со мной, спрашивал меня, я бы сказала тебе, что Святая Святых сожжена и по сей день, а мечта, которую отец мне оставил в наследство, быть может, достанется нашим детям. Моя же душа тоже несется за мечтой, но она где-то там, куда безумными несутся те березы, туда и я стремлюсь, быть может, чтобы наконец быть с тобой и с детьми... Истинно, положив руку на сердце, Фройке, люби-

мый мой, эту мечту я люблю больше тебя... Душа моя отрублена от вас. Помни обо мне, Фройке, поцелуй детей... они – маленькие и меня забудут».

Женщина откупорила бутылку, и на мгновение ноздри ее ощутили запах кислой плесени, который распространяется по двору, когда Фройке-Эфраим насыпает скорлупу миндаля в воду, еду для скота. На какое-то мгновение она словно отказалась от своего решения. Но тут же поднесла бутылку ко рту и выпила всю жидкость до последней капли. Она лежала на спине и краем глаза видела солнце, восходящее из-за склона. После этого начались сильные боли в животе и она издавала крики сквозь сжатые зубы, попеременно со словами на чужом языке. Старик-араб из ближнего села, стороживший виноградники, услышал ее вопли, прибежал, увидел пьяную женщину-еврейку, и это его поразило. Сначала пытался вернуть ей дыхание, помахивая ладонью, чтобы поднести к ее рту утреннюю прохладу.

Когда же он увидел, что она закрывает глаза и впадает в забытие, мысль о преступлении прокралась в его душу. Белле-Яффе, неувядаемой в своей красоте, было двадцать пять в день смерти, и такой она осталась в памяти мужа до дня его кончины.

Когда старик-араб убедился, что женщина умерла, собрал он камни, и покрыл ее тело, пока не поднялся холмик среди холмов, раскинувшихся вокруг.

Когда Фройке-Эфраим вернулся из конторы и нашел пла-

чущих детей, он приготовил им еду, тут же побежал в коровник и конюшню, увидел, что нет белого коня. Только к вечеру стало известно от учеников школы, что они видели женщину, скачущую верхом в сторону оврагов. Тут же он, взяв коня у соседа, поскакал в том направлении. Двое из соседей на своих конях – с ним. Один – на запад, по берегу моря, другой – на восток, в сторону холмов. Все трое вернулись к утру, вымотанные и потрясенные. В тот же день послали людей в мошавы Иудеи, Шомрона и Галилеи. Дали взятки турецким жандармам, чтобы искали по ходу службы и навестили уши к разным слухам, послали объявление о розыске женщины, которая исчезла бесследно, в газету «Ливан», выходящую в Иерусалиме.

Миновали праздники, первый дождь оросил землю, распаханную к посеву. После Песаха сжал Фройке-Эфраим зерновые своего поля, связал в снопы и поехал к главному раввину просить разрешения взять в жены другую женщину, вдову одного из крестьян, который погиб полгода назад. Главный раввин колебался, сказал, что по букве закона это можно, но по букве милосердия следует подождать.

Услышав это, Фройке-Эфраим рассердился и закричал: «Букву милосердия оставьте мне, уважаемый рав. Сердце мое и так разбито».

И Фройке-Эфраим нашел себе другого раввина, в Яффо, который согласился повести их под хулу сразу же после того, как Белла-Яффа будет объявлена разведенной.

Вдова, женщина крепкая и веселая, по имени Ривка, привела свою долю наследства – пятнадцатилетнего подростка Аминадава, семьдесят дунамов зерновых, двадцать пять дунамов виноградников и миндаля, дом с пианино и коровник. Но без конюшни. Пару коней Ривка продала после смерти мужа, чтобы содержать дом и сына. А так как и белый конь Фройке-Эфраима исчез, как известно, было послано одно письмо в Париж барону Ротшильду, другое письмо в Одесский комитет поддержки еврейских поселенцев в Эрец-Исраэль, и в письмах было ясно объяснено, что невозможно обработать сто сорок дунамов зерновых без коней.

В те дни Нааман, первенец Фройке-Эфраима от первой жены, начал наигрывать на пианино, которое привезла в дом мачеха Ривка.

После того, как Фройке-Эфраим привел в свой дом жену Ривку, собрался комитет мошава на экстренное совещание, где метали громы и молнии. Особенно досталось раввину из Яффо, который разрешил женитьбу. Говорили, что он лицемер, ведь полгода назад запретил театральное представление евреев в Яффо, ибо нашел в Гмаре указания, что театры – это языческое действие поклонников звезд и знаков Зодиака. И если так, как же он мог дать разрешение человеку, жена которого исчезла неизвестно куда, жениться на вдове?

Честно говоря, мошавники всегда недолюбливали Беллу-Яффу. Можно даже сказать, что в сердцах ненавидели ее. Но люди ведь больше борются из принципа, чем из любви к ближнему, а ведь принцип – это, по сути, узаконенная ненависть.

Но перед голосованием решено было вызвать на совещание Фройку-Эфраима, чтобы сказал он что-либо в свою защиту.

И вот слова, которые сказал Фройке-Эфраим в неожиданном для него статусе:

– Уважаемые братья крестьяне, первым делом я хочу вам сообщить, что выступаю здесь от имени двух полей зерновых и двух участков виноградников и миндальных деревьев, так что у меня два голоса. Во-вторых, дорогие друзья мои,

поймите, что не из любви к женщинам и не из похоти привел я новую жену в дом. Только освобождение земли стояло перед моими глазами. Можно ли смотреть на невспаханные поля, превращающиеся в пустыни, растить детей без женщины в доме, доить коров и заниматься кухней? Братья крестьяне, разве не землю обрабатывать прибыли мы в страну наших праотцов? Разве выращивание хлеба и плодов, труд на земле, не равны труду Творца? И кто я, чтобы оспорить решение раввина из Яффо? Крестьянин я, землепашец, идущий за плугом, а не знаток Торы. Прошу вас, братья, друзья сердечные, внемлите сердцами вашими и не измените нашей общей цели – высшему желанию оживить пустыни Эрец-Исраэль и вернуть всех скитальцев народа нашего домой, в землю, текущую молоком и медом. А Всевышний, восседающий в небе, будет глядеть на нас с высоты и судить, ибо Ему судить, а нам свое дело делать.

Так говорил Фройке-Эфраим в тот день, и крестьяне молча внимали каждому его слову.

В конце концов решили не голосовать, и если по случаю в мошаве окажется большой знаток Торы, обсудить с ним это дело. И Фройке-Эфраим обещал со своей стороны, если объявится Белла-Яффа, он с честью вернет ее в дом, а вторая жена Ривка, если решат раввины, останется на хозяйстве в доме, и никакого ущерба не будет части ее наследства.

Жизнь вернулась в свою колею, и настоящее ничем не отличалось от прошлого. Только Пастырь сердец наших знает,

что Фройке-Эфраим не забыл Беллу-Яффу, по ночам видел ее во сне и обращал к ней слова мольбы и любви.

Примерно, полтора года спустя после этих событий в швейцарском городе Базеле состоялся первый Сионистский конгресс, и выступил там человек, в котором многие видели царя евреев, доктор Вениамин Зеев Теодор Герцль. И когда у Фройке-Эфраима и Ривки родился сын, дали ему имя Герцль. В день празднования брит-милы Фройке-Эфраим произнес речь. Секретарь комитета записал ее, и она была занесена в книгу записей мошава. И если книга эта не сгорела в дни поджогов, и если страницы ее не разлетелись в дни, когда арабы устроили погром в мошаве, и если не сгнила она под дождем, ибо турки не разрешили навести крышу над новым зданием комитета вместо сожженного, который был построен без разрешения, то речь эта сохранена в ней для будущих поколений.

Таковы были бурные события. Но изнутри текли потоки жизни, полной сытости и довольствия, какой достойны были жители мошава. Перемены вершились по временам года и сменам сельскохозяйственных работ, и если происходило нечто, нарушающее этот ритм, крестьяне с испугом обнаруживали, что не год прошел, а семь или десять. И тогда один говорил другому: «Видишь как, а? А я и не знал».

Так было, когда внезапно появилась сестра Фройке-Эфраима из своего мошава в Шароне верхом на муле, од-

на. Свалилась с животного, поднялась по деревянным ступеням веранды и упала на шею брату, тяжело дыша. Когда дыхание вернулось ей, присела за стол, похлебала чай из стакана, который принесла ей Ривка, и рассказала свою историю.

В конце прошлого лета муж ее был найден убитым штыком у новой плантации цитрусовых. В начале зимы умерли от лихорадки две ее дочери, и они были последними из выживших в мошаве, не считая маленького ее сына. Остались только старики, но затем начали умирать отцы и матери, старики, холостые, а в конце зимы умер и ее сын.

– Я не дала похоронить его, – сказал сестра Фройке-Эфраима, – до того, как решила свести счеты с Всевышним. Стояла у окна с ребенком на руках и говорила Ему: «Ну, сейчас ты радуешься?..» Он мне не ответил, ибо что Он мог сказать?.. Фройке, разреши мне остаться у тебя. Если не хочешь, выгони.

Слезы текли из глаз Фройке-Эфраима, а Ривка обняла сестру его за плечи и сказала ей:

– С нами будешь, наш дом – твой дом; но соболезований выразить не могу. То, что сделал тебе Всевышний, выше нас.

Фройке-Эфраим ударил кулаком по столу так, что чай из стакан разлился по скатерти, встал и вышел. Только к вечеру вернулся, взял лицо сестры в свои руки и сказал:

– Он еще раскается в этом, о, как Он еще раскается.

Ручьи жизни снова вернулись в свои русла и русла времен года. Миндаль был выкорчеван, и участки пашни с мягкой

землей засадили цитрусовыми, дающими апельсины, лимоны и этроги к Суккоту. И когда пошел товар, и корабли повезли в страны Европы апельсины, купил Фройке-Эфраим еще земли и засадил их цитрусовыми деревьями. В тот год создан был Союз владельцев цитрусовых плантаций в Эрец-Исраэль, и Фройке-Эфраим был избран его президентом.

К дому, построенному еще Фройке-Эфраимом и Беллой-Яффой, прибавились два флигеля с комнатами для Наамана и Сарры, детей Беллы-Яффы, для Аминадава, сына Ривки от первого мужа, для маленького Герцля, сына Фройке-Эфраима и Ривки. Отдельная комната была для сестры Фройке-Эфраима.

Дочери Беллы-Яффы Сарре исполнилось четырнадцать лет, и была она похожа на мать красотой и женственностью, но характером пошла в отца, знала, что ей надо и командовала всеми вокруг.

И любила она Аминадава, сводного брата, и так, без слов, привадила его к себе. Никогда ничего не требовала в голос, но всегда добивалась своего. Пятнадцатилетний Аминадав помогал ей по дому и, будучи крепким подростком, подстать своей матери, с удовольствием выполнял все желания Сарры с того дня, как вместе с матерью вошел в дом Фройке-Эфраима.

У сельчан характер буйный, несдержанный, как у домашних и полевых животных. И когда Сарра потянула Аминадава в один из полдней в пустую конюшню, вкусили они там

от плодов Древа познания, и не теряли потом ни одной возможности быть вместе.

Однажды, шатаясь по двору, маленький Герцль наткнулся на конюшню, и открывшаяся ему картина была настолько удивительной и потрясающей, что он замер, открыв рот и не издал ни звука, пока его не заметили Сарра и Аминадав. Сияние разлито было на его лице, и он сказал им:

– Возьмите и меня с собой.

Сарра решительно заявила ему, что если он откроет рот, она просто убьет его, но если будет молчать, они примут его в один из дней в свою компанию. Маленький Герцль обещал и свое обещание сдержал.

Среди удовольствий сельской жизни с их природной непосредственностью Нааман, сын Беллы-Яффы, выглядел чуждым и странным. В тот день, когда мачеха привезла в дом пианино, десять лет назад, и он коснулся клавиш, больше от них не отходил. С утра он учился в школе, а вторую половину дня, когда сестра его и братья работали по дому и на плантациях, он сидел за пианино. Со временем нашли ему учительницу, которая преподавала музыку в Одессе до отъезда в Эрец-Исраэль, и сейчас радовалась тому, что может немного вернуться к той жизни в молодости. Женщина была меланхоличной и потому разучивала с Нааманом мелодии печальные, трогательные, душу и увлажняющие ресницы слезами. Увидев слезы и в глазах ученика, она возликовала великой радостью и начала приносить из дому ноты Глинки,

Чайковского, немного Шопена, пока в один из дней не поняла, что ученик дошел до такого уровня, что больше она ему дать ничего не может.

Фройке-Эфраим чувствовал и понимал, что Нааман сын своей матери, и нет ему места среди крестьян, и если отец не хочет сделать сыну ничего плохого, он должен исполнить его желание. Решено было, что Нааман поедет в Иерусалим, в музыкальную школу, а домой будет приезжать лишь на Песах и Рош-Ашана.

И так в шестнадцать лет Нааман ушел из отчего дома, жил в Иерусалиме у своего преподавателя. Он и дома-то разговаривал с близкими очень мало, а тут, у преподавателя, вообще перестал говорить. В свободное от занятий время бродил вдоль домов, вне стен старого Иерусалима, с нотной тетрадью в руке, иногда останавливался и записывал нотные знаки. Устав от ходьбы, усаживался на камень у обочины дороги, глядел на звезды в небе, и глаза его наполнялись слезами.

Через несколько лет, в Париже, по ночам он много думал о времени, проведенном в Иерусалиме, и говорил в сердце своем, что годы эти были прекрасными.

За два года до того, как вспыхнула Первая мировая война, апельсины Эрец-Исраэль шли по всей Европе нарасхват. Богатеющие владельцы цитрусовых плантаций собрались и решили послать своего представителя в большой мир завязать торговые связи, заложить сеть агентов, нанять склады и корабли.

Фройке-Эфраим взял на себя эту миссию и сказал собравшимся, что он принимает решение союза и готов потрясти свои кости на кораблях и в поездах во имя того, чтобы укрепилось финансовое положение Эрец-Исраэль, и народ, живущий в Сионе, смог бы покупать дополнительные земли, усилить молодой ишув до полного его освобождения. И до него были посланцы, но те, главным образом, собирали милостыню. Фройке-Эфраим был первым, кто взял на себя всю тяжесть кочевья по миру во имя торговых целей, которые были основой строительства страны по пути к высшим идеалам.

В тот год двадцатидвухлетний Нааман преподавал музыку в Иерусалиме. Завершив учебу в академии, он не вернулся в отчий дом, а снял комнату в районе Нахалат-Шива. Больше всего времени он пропадал в академии, но несколько избранных его учеников приходили к нему домой, юноши эмоциональные, из привилегированных семей, и кроме них Нааман ни с кем не общался. Ни разу не обменялся хотя бы словом с девушками в академии, с боязнью пробегая мимо них. К ученикам же был сильно привязан.

Когда Фройке-Эфраим приехал в Иерусалим проститься с сыном перед отъездом, открыл ему Нааман скрываемое им в душе страстное желание поехать в Париж и там продолжить учебу. Двадцати двух лет был Нааман, поразительно похожий на мать лицом, движениями и негромким пришепывающим разговором. Отец долго глядел на него, и ужасные мысли прокрались в его сердце, внезапный страх охва-

тил его.

И Фройке-Эфраим сказал:

– Ну что ж, едем вдвоем в Европу, ты в Париж, а я в Лондон. На одном корабле доплывем до Марселя. Ну, что ты на это скажешь?

Нааман опустил глаза и сказал:

– Спасибо, отец.

Сразу же после Песаха приехали они в порт Яффо и отплыли на французском корабле в Марсель, за два года до начала войны.

Жена Ривка, сын ее от первого брака Аминадав и дочь Беллы-Яффы Сарра проводили Фройке-Эфраима и Наамана до трапа корабля. По дороге домой, в мошав, Аминадав сообщил матери, что Ривка от него беременна, и надо их поженить. Все время, когда отец был дома, они боялись открыться, а теперь следует это сделать.

Ривка долго не колебалась, дала согласие. Ко времени возвращения мужа живот Сарры все поставит на место, и любые разговоры станут излишними.

Свадьба состоялась в Лаг ба-Омер, и потрясенные жители мошава на этот раз не собрались на чрезвычайный совет: привыкли уже к странностям и чуждости этой семьи основателей. К тому же Фройке-Эфраим был их посланцем и президентом союза владельцев цитрусовых плантаций в Эрец-Исраэль.

В первую ночь плавания, после ужина, взяли отец и сын полотняные шезлонги и уселись рядом на палубе лицами к морю.

Фройке-Эфраим, не видевший сына более года, был невероятно потрясен сходством юноши с матерью, и в сумерках, на палубе, вспомнил другое такое плавание, тридцать лет назад, из Одессы в Яффо.

«Когда придет Мессия и мертвые воскреснут, – размышлял про себя Фройке-Эфраим, вспоминая, что учил в детстве и это засело в тайниках его души, – когда придет Мессия и мертвые воскреснут, каков будет приговор человеку, у которого было две жены? Кто останется его женой после воскресения к вечной жизни? Говорят, что с приходом Мессии все заповеди будут отменены, да и семьи – тоже. Говорят, что первая жена и есть жена, как Ева Адаму, а не вторая».

«И если найдешь верные слова, – прокручивал Фройке-Эфраим в голове напев из напевов йешивы, – и если найдешь верные слова, то я уже пребываю в этот миг в дни пришествия Мессии, после воскресения мертвых... Ведь вот Белла-Яффа, сидит рядом, надо лишь протянуть руку, чтобы коснуться ее».

Он встал со стула, не глядя на сына, подошел к поручням и закрыл глаза. Ветер теребил волосы, гладил лицо, и от си-

лы ветра, горячего запаха моря, соленого воздуха он заморгал, пока по щеке не скатилась слеза, а за ней другая. И слух внезапно открылся какому-то голосу, мелодии, знакомой и незнакомой, звучащей то ли рядом, то ли издалека. Он вытер лицо ладонью и вернулся к сыну.

– Нааман, – сказал он, садясь в шезлонг, вкладывая в голос всю силу легких, – Нааман, ты ведь музыкант, знаешь много песен, может, знаешь какую из тех, что пели в России, когда я был ребенком? Из тех, проклятых, гойских, таких печальных и красивых, черт возьми. Из этих русских печальных песен?

– Я могу попробовать, отец, – сказал Нааман, – хочешь, спустимся в столовую? Там есть фортепьяно.

Шел первенец, а за ним отец, глядящий ему в спину. Ноги отца немного заплетались, но в груди ощущалось волнение, возбужденное памятью, словно бы можно вернуть ее, пропащую, и это не будет сном или глупой галлюцинацией. Казалось ему, что он стоит на пороге какого-то чуть ли не преступления, собирается сделать нечто, недостойное его как человека, но сладость этого преступления влечет его сердце, и нет свидетелей, кроме сына, который не может быть свидетелем, ибо в нем возвращенная душа иного существа, и он просто вынужден преступить. Словно дух бестелесный.

Играл Нааман «Баркаролу» Чайковского, и Фройке-Эфраим упал в кресло в пустой полуосвященной столовой.

– Похоже, – бормотал отец, – но не совсем, не совсем. Попробуй что-то менее профессиональное, ну, не столь интеллигентное, что-либо народное, Нааман, что-либо сельское. Попробуй. Не отчаивайся. Мы совсем близки к тем песням, которые я прошу тебя исполнить.

Нааман сыграл «Сомнения» Глинки, глядя через плечо на отца, и тот качал головой и шептал:

– Продолжай, это не то, но совсем-совсем близко. Попробуй еще что-нибудь...

Нааман играл «На пороге дома», «Вечерний звон», «Мой костер в тумане светит», и затем, как бы улыбаясь самому себе, вернулся к Чайковскому, мягко раскатывая – «Куда, куда вы удалились весны моей златые дни» из оперы «Евгений Онегин».

Нааман отнял руки от клавиш, опустил ладони на колени. Отец молчал, потирая небритые щеки. Они сидели в полутемном зале, в десяти шагах друг от друга, и из глубины корабля слышался глухой гул двигателей.

– Нааман, – сказал отец, – почему ты никогда не спрашивал меня о своей матери? Она ведь исчезла из нашей жизни, как привидение. А ты ни разу меня не спросил о ней.

– Мы с тобой никогда не разговаривали, отец – сказал Нааман, сидя у фортепьяно и не поворачивая головы.

– Ты меня обвиняешь, Нааман?

– Это ты меня обвиняешь, – сказал Нааман, – я тебя не виню ни в чем.

Снова двигатели корабля усилили ритм, перемалывая установившееся между ними безмолвие. Фройке-Эфраим втянул воздух в легкие и начал говорить. Сначала говорил тихо, почти шепча, затем голос его окреп, то возвышаясь, то понижаясь, словно бы не в силах владеть собой.

— Матери твоей было двадцать пять, когда она меня покинула. Тебе было пять. Семнадцать лет прошло с тех пор, Нааман, семнадцать лет. И не было у меня ни одного дня, ни одного дня, слышишь, Нааман? Ни одного дня память о ней не отпускала меня. Правда, я взял себе другую жену и у нас родился сын Герцль, и нет у меня никаких претензий к этой женщине. Но знай, Нааман, что кинжал вонзен в мое сердце и оно кровоточит. Ты еще был дома, когда я посадил свой первый цитрусовый сад, но ты ведь ничего не видел, весь был в своей музыке. Я же отослал рабочих сразу же после того, как они привезли эти маленькие саженцы, подождал, когда стемнеет, взял один из них, выкопал ямку, посадил первый саженец и закричал: «Белла, Белла моя!» Я хотел, чтобы она знала, что сажаю новые деревья в нашей усадьбе, я кричал, как безумный: «Белла, почему ты меня оставила?» Никто не слышал. Ты играл на пианино, а Сарра и Аминадав несомненно были в конюшне. Я ведь знаю все о моей семье, Нааман, не думай, что чего-то не знаю. Добрая Ривка стирала их одежды во дворе, и никто и не должен был слышать. Но мама твоя знает, что я кричу ей ночами. Она знает. Но она не возвращается. Семнадцать лет не возвращается. Ты

что думаешь, Нааман, я просто так оставляю усадьбу, мошав и уплываю, чтоб заняться торговлей апельсинами? Я не говорю, что дело это не важно. Я свою работу сделаю всей душой, никто за это не должен тревожиться. Но почему я возвращаюсь в проклятые эти страны? Я скажу тебе, Нааман, почему я туда еду. Я ищу свою первую жену. Быть может, она вернулась в Россию? Или уехала в Англию? Или Францию? Может, у нее новая связь? Откуда я могу знать? Так вот вдруг, без всякого предупреждения, ушла, как растворилась. Оставила мужа, маленького сына и совсем маленькую дочку. Она ведь была не из тех, кто так вот неожиданно оставляет семью. Так почему же, почему она сбежала? Нааман, ты человек умный, образованный, ответь мне, Нааман.

– Не знаю, отец – сказал Нааман, так и не поворачивая головы от клавиш.

– Не знаешь? – в голосе Фройке-Эфраима было невероятное удивление: казалось, хотел сказать: «Так зачем же я тебе рассказал все это?»

– Как же это ты не знаешь? – продолжал отец. – Ты ведь так на нее похож. Теперь вот и ты уходишь от меня. Я подумал, если объяла тебя такая страсть встать и уйти, ты сможешь мне объяснить, ответить на мой вопрос.

– Я давно покинул дом, отец, и ты ни разу меня не спросил об этом, – сказал Нааман.

– Так теперь я спрашиваю, – нетерпеливо сказал Фройке-Эфраим.

– А я тебе отвечаю: не знаю.

– Ты на меня сердишься, Нааман? Есть во мне что-то, от чего хочется сбежать? Ты обязан объяснить мне, сделать это для меня, помочь мне.

– Как я могу помочь тебе, я ведь только начинаю жизнь, – на этот раз Нааман повернул голову и взглянул прямо в лицо отца. – Как ты можешь требовать это от меня? Всю эту тяжесть ты хочешь переложить на мои плечи? Ты думаешь, тебе это можно? Знаешь ли ты, что и на моих плечах достаточная тяжесть?

И тут, внезапно, словно некое опьянение, спала пелена, в которую был погружен отец. Тонко и коротко, как в мгновение ока, укололо болью в груди и прошло. Он посмотрел на сына и замолчал.

В Париже, на шестом этаже маленькой улочки, выходящей на Сену, сидел Нааман у окна, боясь выйти из дома, ибо уже в первый день здесь произошли с ним страшные вещи. С момента, когда он сошел с поезда, привезшего его из Марселя, он вдруг увидел картины, знакомые ему из прошлого. И не только места напоминали ему забытое, но и запахи, и, главное, голоса, но не человеческие, а голоса вещей, камней и вод, голоса, пилами визжащие в ушах, голоса, которые слышишь только ты, а окружающие о них и не подозревают.

Вначале Нааман был удивлен, и даже обрадован, представляя себе сплошной праздник, ожидающий его здесь. Опершись на каменный парапет, смотрел на воды реки, и они посылали ему свои негромкие голоса, высывая язычки, говоря: глок-лак-лик-лок, не желаешь ли ты разделить с нами рок?

Камень под локтями говорил шорохом: аваш-ваш, все им отдашь, ступай по ступенькам вниз, под сводом, к водам, водам, водам.

Он двинулся вдоль домов, стоящих над Сеной, и вдруг дошел до его ноздрей запах еды, вкус которой он знал. Но кто варил для него эту еду? И не голод ощутил Нааман, а некое неясное томление, ностальгию, сосущую душу, и дрожь всеми фибрами тела. И он уже знал, что, войдя в стоящий пе-

ред ним переулочок и повернув направо, окажется перед белым домом с красными ставнями, и на окнах второго этажа будут кружевные занавески, чуть закатанные, и знакомые лица будут выглядывать из-за их складок. Нааман пытался напрячься и вспомнить, чьи же это лица, и сердце его стучало в висках.

С шестого этажа он так и не сходил, а еду ему приносила домовладелица, как и было заранее оговорено. И он сидел у фортепьяно, играл и записывал ноты в тетрадь, и снова играл. Слезы текли по его щекам, но и кривая улыбка иногда появлялась на губах, ибо, слушая сочиненные им мелодии, он ловил себя на том, что они как бы кружатся вокруг одной, что он играл отцу на корабле, мелодии «Мой костер в тумане светит», которая как бы протягивает объятия в дальний край, расширяется, обнимает звезды в небе Иерусалима и возвращается в иное место, холодное, влажное, полное тумана, и звуки колокола раздаются за его спиной.

В один из дней послышался стук в дверь, и плотный человек с копной волос и крепкими плечами возник в проходе. Нааман смотрел на вошедшего человека и молчал. Он не испугался и ожидал, что тот исчезнет так же, как возник. Нааман собирался вернуться к мелодии и колоколу.

– Нааман, – спросил шепотом человек, – почему ты так на меня смотришь?

– Я играю, – ответил Нааман. – Я устал, а сейчас играл. Фройке-Эфраим вызвал карету и повез сына к врачу, ко-

торый выписал лекарства и уверил отца, что сын выздоровеет, у него нервное истощение, и неплохо было бы ему поехать немного на природу, пожить в деревне.

После этого отец повез сына в ресторан и заставил его съесть мясное блюдо со свежими овощами.

Вернувшись в комнату, отец рассказал, что расспрашивал во всех учреждениях еврейской общины в Лондоне, но так и ничего не узнал о Белле-Яффе, а сейчас, отсюда, он едет в Одессу. Дела в Лондоне были весьма успешны, там уже открыто специальное бюро Союза владельцев цитрусовых плантаций в Эрец-Исраэль.

Фройке-Эфраим обещал сыну скоро вернуться после посещения России и заставил его поклясться, что тот будет пить лекарства и гулять по бульварам и полям. Хозяйке дал подробные указания, какую еду готовить сыну, и прибавил ей плату.

Успех и удача благоволили Фройке-Эфраиму. В Лондоне устроили прием в его честь в доме Сионистского профсоюза и доктор Хаим Вейцман, обняв его за плечи, сказал собравшимся:

– Вот, господа, смотрите, каков облик нового еврея в Эрец-Исраэль.

Общественность вглядывалась в лицо Фройки-Эфраима и аплодировала.

– Эфраим Абрамсон, – сказал доктор Вейцман, – надежда и гарантия, которые дал сионизм еврейскому народу. Он первооткрыватель, крестьянин, обрабатывающий землю и видящий благословение в своем нелегком труде, гордый посланец, человек огромной силы, принесший нам запах земли, запах цветения цитрусовых. Но не только это он принес, но еще и решительное требование, которое он обращает к каждому из нас, поддержать всеми нашими силами усиление и укрепление еврейского сельского хозяйства в Эрец-Исраэль.

Многие подходили и пожимали руку Фройке-Эфраиму, а некоторые при этом добавляли, как бы между прочим, что рады будут встретиться с ним и обсудить ту цель, во имя которой он приехал сюда.

И возвращаясь из Лондона в Париж, Эфраим Абрамсон

предвкушал, с какой радостью и удовольствием расскажет сыну об этой встрече в Лондоне, о приобретенном им высоком статусе и том уважении, которое отдают евреи рассеяния простому еврею из Эрец-Исраэль.

В Париже Эфраим Абрамсон был приглашен на обед к барону Ротшильду, где отведал удивительные блюда. И в Париже он продолжал безуспешно искать следы Беллы-Яффы, и решил неотлагательно ехать из Западной Европы в Россию, ведь Белла-Яффа была оттуда, быть может, вернулась туда и там он ее найдет.

В Одессе он нашел людей, знавших семью его первой жены, но отец и мать ее умерли, а брат уехал в Америку. О других членах семьи не знали ничего, кроме того, что дочь их вышла замуж за человека, уехавшего в Палестину много лет назад.

– Я и есть этот человек, – сказал Эфраим, – дочь их была моей женой, и я ищу ее.

Люди пожимали плечами и молчали. Но с того момента подозревали, что с Эфраимом не все в порядке и не стоит иметь с ним дело.

К счастью, дела свои он сделал с не евреями, власть имущими и портовым начальством, а на одесских евреев махнул рукой. Завершив дела, поехал поездом в Киев и Харьков, там тоже проживали некоторые из родственников Беллы-Яффы. В Киеве не нашел никого, а в Харькове обнаружил семью, занимающуюся мыловарением, в которой из трех братьев-ком-

паньонов младший был женат на старшей сестре Беллы-Яффы.

Перед встречей с ней Эфраим посетил парикмахера, подстригся и попросил обрызгать волосы одеколоном, затем вернулся в гостиницу и облачился в черный костюм, в котором был на встрече с доктором Вейцманом в Лондоне. Перед зеркалом выпрямился в полный рост, оценивая себя со стороны, и, приведя мысли и чувства в некоторый порядок, удовлетворенный собой, пошел медленно-медленно к дому сестры Беллы-Яффы, стараясь, чтобы костюм не помялся.

Сестра бросилась ему на шею с поцелуями, хотя никогда его раньше не видела, приняла, как принимают близкого человека. Он еще рта не раскрыл, а она излила на него ушат сердечности, сделала ему выговор, что не заставляет жену, сестру ее, писать ей письма, хотя бы несколько слов, ничего не значащих, но несущих весточку о ее здоровье и делах.

– Может, азиаты вообще не пишут писем, – сказала она, – но вы же в конце концов европейцы, и даже если забыли какие-то правила, все же я ее сестра во плоти и крови, может ли она себя так вести, скажите, господин Абрамсон?

– Разрешите мне спросить, – сказал Эфраим, – когда вы получили последнее письмо от Беллы?

– Когда? – рассмеялась она, – может, лет двадцать назад? Да что я говорю? Более двадцати.

– И с тех пор ничего?

– Ничего. Об этом и речь, – вдруг изменилась в лице, –

что-то случилось? Не нравится мне ваше лицо. У меня сердце обмерло.

Эфраим рассказал все, что знал, сестра Беллы сидела перед ним, скрестив руки, плакала слезами, запоздавшими на двадцать пять лет, слезами женщины, которые ничего не отняли и не добавили в душе Эфраима.

Прощаясь, обещал прислать фотографии детей, и сказал сестре Беллы: если когда-нибудь они задумают семьей переехать в Эрец-Исраэль, он поможет им основать мыловаренную фабрику, и это будет первая такая еврейская фабрика, как сказал пророк: «Готовясь к большой стирке, запасись мылом».

Он вышел из дома и двинулся вдоль переулка с названием Аптекарский, который выходил на Сумскую улицу. Он помнил какие-то очень уж размытые детали, но вместо того, чтобы напрямч силу памяти, выругался в сердцах и дал себе слово, что больше нога его не ступит на эти чуждые ему земли, и с этого момента он, вернувшись домой, принял решение: ни за какие самые заманчивые предложения не соглашаться быть посланцем.

После того, как Эфраим покинул Париж, остался Нааман один в своей комнате, сидел за фортепьяно, глядел на немые клавиши и знал, что нечего больше к ним прикасаться. Долго так смотрел он на них, затем покрыл их войлочной тряпкой, прикрыл крышкой, встал, поклонился, пробормотал нечто, похожее на оправдание своих действий, и покинул комнату.

Множество голосов, хлынувших на него с улицы, не сливалось с мелодией, отторгалось, ломалось, разрывало слух до того, что он почувствовал боль в барабанной перепонке.

В Иерусалиме – насколько помнилось Нааману – даже ночное безмолвие вливалось в мелодию. Даже молчание звезд несло в себе какой-то напев, который он записывал в тетрадь. Здесь же онемели даже клавиши, лишь разноречивой городской звуков ранил и приносил боль.

Вместе с тем он знал, что даже вернувшись в Иерусалим, мелодию он больше не услышит, ибо каналы, ведущие извне внутрь, нарушены, а инструменты, ведущие изнутри наружу, прорваны, расширены и, разорванные, бредут вразброд без всякого сдерживания. И он прислушивался к этому мутному потоку, к этому медленному и нескончаемому излиянию изнутри вовне, ощущая все более усиливающееся опустошение, без жалоб и сопротивления погружаясь в безмолвие бытия.

Внутри него еще теплилось знание: стоит ему найти некий свет, сияние, за которое можно будет ухватиться, он еще может быть спасен, и он кружился вокруг чего-то, за что, казалось ему, можно ухватиться, и пытался представить себе некий знакомый ему ландшафт, где находится это сияние.

Дом его в мошаве вставал перед ним опустевшим, в котором поселились коровы и овцы. В Иерусалиме бывшие его ученики оставили фортепьяно и так, без всякого толка, поженились. Никогда Нааман не предлагал им иные варианты жизни, уверенный в том, что они и сами поймут свой путь. Не поняли. Отец же виделся ему огромной горой, самодовольной в своей пустыне, и поток, несущий Наамана, огибал эту гору с головокружительной быстротой, смывая всяческие направления, обрушиваясь вниз, разливаясь вокруг и вдаль, и не было смысла звать о помощи из глуби этого потока, ибо силен голос вод, а гора высока и глуха.

Стоял Нааман, прислонившись к стене какого-то дома, глядел на летнюю улицу, на пешеходов, и улыбался. Молодая женщина подошла к нему, вынула из сумки платок, обтерла ему лицо и что-то ему говорила. Он узнал ее в тональности G-Moll. Она вложила ему в рот кусочек шоколада, и он выплюнул его.

К утру, лежа на постели в своей комнате с закрытыми глазами, он пытался вспомнить, кто же была эта молодая женщина на улице; и после долгого напряжения памяти, где-то к обеду, подумал, что, быть может, это была его мать. Завтра,

может, даже сегодня вечером, он вернется на то же место и будет ее ждать. Вечер за вечером будет стоять там, пока она не вернется.

Через три месяца, вернувшись в Париж, стоял Эфраим в дверях комнаты на шестом этаже. Каждый месяц по его указанию приходили сюда деньги из банка, часть которых шла хозяйке, часть Нааману. Помнил он и предписания врача, что хорошая пища и прогулки по бульварам и садам вернут сыну здоровье. В дороге он надеялся на нечто лучшее, но сердце его сжимал страх.

Открыв дверь, он увидел перед собой юношу, волосы которого отросли, как у женщины, жидкая бороденка вилась, покрывая светлым пушком щеки, как у юношей, которые ни разу не брились, и свисала с подбородка. Гладкие его щеки покрывал нездоровый румянец и глаза горели нездешним огнем. Нааман встал посреди комнаты, поклонился и развел руками, словно извиняясь.

Эфраим молча смотрел на сына. На миг показалось ему, что юноша сейчас упадет, и он готов был броситься к нему и поддержать, но юноша не рухнул, не отключился, а продолжал стоять на месте. Длинные его волосы были волосами матери, и румянец на щеках – ее, только пушок портил Эфраиму настроение, но он тут же взял себя в руки и сердце его сжалось от жалости и ужаса.

– Как дела, Нааман? – Эфраим сам испугался звучания своего голоса.

Юноша снова развел руками, как бы прося прощения за все, что натворил.

На этот раз врач приехал, ибо Нааман не хотел покидать комнату даже с отцом. Врач посоветовал отвезти Наамана в больницу. Не лучше ли, спросил Эфраим, увезти его домой, в Эрец-Исраэль.

Услышав это, Нааман ушел в угол, приложил ладони к стене и прошептал:

– Я не хочу туда.

По мнению врача, в Палестине нет специалистов по этой болезни и лучше оставить его здесь, пока не наступит улучшение и он вернется домой по собственной воле. Ночью отвез его отец в больницу, поместил его в отдельную палату и оставался с ним всю ночь. К утру услышал тихое завывание с постели сына. Он бросился к нему и прошептал:

– Нааман, ну скажи мне, что за зло я тебе сделал? Кто, кто это сделал тебе?

Но, кажется, Нааман завывал со сна. Он не открыл глаза и никак не отозвался.

Через несколько дней Эфраим добрался поездом до Марселя, ступил на корабль и вернулся домой, к своим цитрусовым плантациям.

И было Эфраиму Абрамсону по возвращению из Европы сорок семь лет, и он сдержал клятву: больше ноги его не было за пределами Эрец-Исраэль до дня смерти, через сорок три года.

Вернувшись, он отчитался о поездке в союзе владельцев цитрусовых плантаций, и, несмотря на сплошную цепь успехов и достижений, крестьяне были удивлены тому, что не было на его лице и следа улыбки, и все говорилось с угрюмым и замкнутым выражением лица, которое таким и осталось на всю оставшуюся жизнь.

Дома встретил сообщение о свадьбе Сарры и Аминадава сердитым молчанием, и молодые были сильно удивлены тем, что не сказал ни слова и вообще не проявил к случившемуся никакого интереса. Они даже как-то немного обиделись на это. Конечно же, Аминадав испытывал боязнь перед отчимом, но не было в жизни его случая, как говорится, согрешить перед ним, поссориться, а затем наслаждаться примирением. Учитывая всю необычность женитьбы на Сарре, он ожидал, что отчим будет метать громы и молнии, а затем они помирятся, и таким образом Аминадав узнает, насколько Эфраим его любит. Но все эти ожидания пошли прахом.

– Сарра родит дома, – сказал он Ривке ночью в их комнате, – но после этого я дам им деньги, пусть найдут сами себе

место и создадут дом по их разумению.

Ривка не возразила. Она не могла требовать от Эфраима дважды из-за нее позориться перед жителями мошава, и к тому же была убеждена, что ответственность за поведение Аминадава лежит на ее плечах. Для него и так достаточно было решиться взять ее в жены и пойти против комитета мошава.

За год до начала Первой мировой родила Сарра первенца и дали ему имя Овед.

– Все мы земледельцы, работники земли, – сказал Эфраим.

Через полгода молодые переехали жить в Тель-Авив, и там Аминадав открыл фабрику по производству кирпичей и строительных блоков, на которой трудился сам с еще двумя рабочими. Сарра вела дела с подрядчиками и строителями. В свою квартиру на бульваре Ротшильда взяли они ученицу гимназии «Герцлия», которая после учебы следила за ребенком, убирала и варила, а Сарра сидела над счетами с подрядчиками и строителями, а затем ходила на стройки собирать долги и набирать заказы.

Через год Сарра родила еще одного сына, и дали ему имя Эликум, а еще через несколько месяцев грянула Первая мировая война, прекратилось строительство в Тель-Авиве, и фабрика закрылась.

Настали годы скорби, голода, изгнаний, годы, которые стираются из книги жизни. Прекратилась торговля цитрусо-

выми. Саранча 1913 года оголила плантации, и крестьяне общались до такой степени, что в домах не было и куска хлеба.

Через месяц после начала войны пришло Эфраиму письмо из Франции вместе с грудой писем о торговых сделках и делах Союза, и в нем писалось, что Нааман покончил с собой.

Эфраим Абрамсон держал письмо, еще и еще раз перечитывая его, закрывая глаза и говоря про себя: оба умерли, и сын, и мать. Они пишут, что и мать умерла. Нет сомнения, что именно это они хотят мне сообщить.

Он не рассказал Ривке про письмо из Парижа, пошел на плантацию, которая лишь год назад ломилась от плодов, а теперь была пустынна и сожжена, и ветви кололи каждого, кто к ним приближался. Он кружился между обнаженными стволами, грозил кому-то кулаком, носком ботинка сбивал сухие комья земли, бормотал обрывки строк из Священного писания, уже выветривающиеся из памяти – «Страна отдана злодею...», «Да сгинет день, в который я родился... Да станет день тьмою... Да поглотит мрак эту ночь...», наконец сел на землю, порвал рубаху, теребил отставшую от ствола кору дерева и кричал: «Вывать, вывать с корнем, ко всем чертям... На что и для кого я потратил дни свои, кровь свою и пот? Кто мне здесь и что мне здесь? Сын мой Нааман, любимый мой Нааман, почему я позволил тебе оставить отчий дом? Зачем я взял тебя в эти проклятые страны? Сирота моя, юноша, играющий на фортепьяно, саженец сла-

бый и нежный, это я убил тебя, я убийца, я, президент Союза владельцев плантаций... Как я прятался за этим отвратительным «почетом и уважением»... Сумасшедший, дурак несчастный, почему я не хотел верить в то, что Белла выбрала смерть. Ей лучше было умереть, чем жить со мной. Где были мои глаза, мое сердце, когда я видел ее блуждающей по дому, как привидение? Дом я ей дал, плантации насадил для нее... Но она всего этого не хотела. Мелодии были у нее в голове, и к ним она жаждала вернуться... Это я, грубая скотина, конь, впряженный в телегу, ходил по кругу и ничего не видел по сторонам, и сердце мое было закрыто, как пустая бочка... Мне было важно пожать руку доктора Вейцмана, одеваться в черное, пустомеле, одержимому страстью суеты, бегущему в места, где никто тебя не знает. Кто простит мне, кто скажет мне: гнусная ты сволочь? А вы, которых уже нет, любимые мои, единственные мои, для чего мне жизнь без вас?»

Упал Эфраим лицом в прах между пнями, пока не напал на него сон. И сидел там, во сне, за столом заседания Союза владельцев цитрусовых плантаций, и вдруг вспомнил, что дети не накрыты, и могут простудиться, вышел из зала заседаний, пересек коридор и вошел в детскую спальню, стоял на пороге. Волна великого счастья затопила его душу и он сказал про себя: вот, твой дом полная чаша, полны закрома зерном, не во всем ли тебе благословение?

Детская была окутана сумраком, и он пытался услышать

мягкое дыхание, витающее над детьми. Тут вспомнил, что пришел-то накрыть детей, приблизился к постели, увидел, что она пуста, закричал в ужасе и проснулся.

Подняв лицо от земли, перевернулся на спину, увидел небо и звезды, слышал голоса ночных зверушек. Он помнил свой сон, подумал: «Если бы пустая детская была полна детьми, а полный людьми зал заседаний был пустым, какой бы прекрасной могла быть жизнь». Лицо его скривилось, он выплюнул песок, застрявший в зубах, продолжал отплевываться, затем встал на ноги. «В конюшню, – сказал он себе, – место лошади в конюшне. Иди жевать сено, скотина».

Жители Тель-Авива были изгнаны турками на север, и Сарра с Аминадавом и двумя детьми Оведом и Эликумом приехали на телеге со всеми пожитками и поставили свой шатер рядом с мошавом, откуда пришла сестра Эфраима. Местные жители показали им ее дом, в котором умерли ее муж и трое детей.

В южном мошаве колебались, куда двинуться, пока не разбродились кто куда, на север, на юг, в английский лагерь в Египте. Эфраим, Ривка и маленький их сын Герцль уехали в Египет и там прожили четыре года.

В Египте Эфраим встретил посланцев барона Де-Манше и с их помощью нашел работу подрядчика в Александрии, снял небольшую комнатку для семьи, а Ривка стала поварихой в еврейском ресторане около порта.

Военные дела касались сердца Эфраима лишь в той степени, с которой влияли на положение в Эрец-Исраэль. И все это он находил у господина Алекса, который нередко навещался в Каир и брал с собой Эфраима, и там узнавал последние новости, чтобы хоть немного оживить душу. Возвращаясь из Каира, за ужином приказывал Ривке опустить шторы, а Герцлю – слушать и держать язык за зубами. Секретов было много, и были они нележки. Группа евреев в Сихрон-Яакове шпионит в пользу англичан, ибо англичане

будут властвовать в Эрец-Исраэль после окончания войны. Группа эта в общем-то истинные крестьяне, сыновья земледельцев и виноделов, любовь к земле заполняет их сердца и они готовы пожертвовать жизнью во имя родины. Но против них ополчаются рабочие из разных коммун, сотрудничающие из страха с турками, вздрагивающие при падении каждого листика с дерева и мешающие шпионам в их деле. Уже был случай, когда они выдали героя «Нили» преследующим его туркам, и те расстреляли его в Стамбуле.

– Запомните, что я вам говорю, – шептал Эфраим на ухо жене Ривке и сыну Герцлю, – огонь вырвется из дел этих и выжжет наш ишув, съест его на много поколений. Сыновья земледельцев не простят рабочим, а те будут ненавидеть этих сыновей крестьян, когда поймут, что те были изначально правы. Евреи крепки памятью: то, чего они не простили Амалеку после тысяч лет, они естественно не простят один другому через считанные годы.

– Ну прямо так уж, – говорила Ривка, – все забудется, как только война кончится, таковы пути мира.

– Женщина! – сердито говорил Эфраим. – Плохо ты знаешь свой народ. Эта война просто детская игра в сравнении с войной, которая разразится между евреями в дни мира.

Ривка замолкает, Герцль молча слушает, и когда отец завершает свой монолог, спрашивает:

– Отец, хочешь, я присоединюсь к шпионам?

– А ты вообще иди на свое место, – приказывает ему

Эфраим.

— Вырастешь, станешь мужчиной, хватит и на тебя всяких авантюр. Так что не беспокойся.

И Абрамсоны возвращались к своим повседневным делам, ожидая завершения войны, время от времени выслушивая новости, которые отец привозил из Каира. И между этими ночными разговорами жизнь их текла мерно и мирно, несмотря на то, что вокруг мир горел огнем. Они жили и вели себя, как их отцы и праотцы вот уже тысячи лет: не обращая внимания на шум и балаган, который устраивали народы вокруг. Сердца их, как и праотцев, направлены были к единому центру, скрытому в глубине, и притягивались единственным местом, раскинувшимся по берегам Иордана. От степей Украины Иордан был далек. Но совсем близок от Александрии.

И было Герцлю семнадцать, когда он сошел с отцом и матерью в Александрию. Большую часть дня он занимался в колледже, где быстро выучил английский и французский, а по вечерам встречался с друзьями из сынков богатых евреев. Отец и мать баловали его, и он одевался не хуже дружков, и в кармане были деньги, и, естественно, настроение было приподнятым.

Друзья преподали ему уроки большого города, и вскоре он стал их вожакom и лидером. Ходили компанией к итальянским проституткам, курили сигареты с ароматными наркотиками. Отрастив себе усы, он так их никогда не сбрывал, и

до дня кончины, в возрасте семидесяти семи, они украшали его верхнюю губу.

С юности консервативно относился к одежде: всегда носил тщательно отглаженный воротничок, рубахи с манжетами, цвет которых подбирал к галстуку, и опять же был этому верен всю жизнь, холостяк, покупавший любовь за деньги, чтобы не быть обязанным никому, ни мужчине, ни женщине.

И так как молодость свою он провел в чужеземной стране, пристал к нему этакий запах отдаленности и чужеземья, странный-иностранный, и он старался этот запах сохранять и лелеять всю свою жизнь.

Эфраим с нетерпением ждал окончания войны, чтоб вернуться к своим цитрусовым садам и дому, и Ривка разделяла его нетерпение, работая споро, но в напряжении ожидания. Только Герцль вел себя так, словно ничего не изменится в его повседневной жизни и не ждет его никакая дальняя дорога. словно бы здесь родился и останется навсегда. Молод был, и молодость эту сохранит в течение жизни благодаря своему консервативному характеру.

Со временем отдалился от еврейских дружков и нашел себе компанию среди итальянцев, греков и арабов. Война кончилась, и он мог бы легко ассимилироваться среди всего этого разноречивого вавилонского столпотворения Александрии, из порта которой многие нашли путь через Средиземное море, чтобы на всю жизнь осесть в разных местах Европы.

Но война, заставившая Абрамсонов покинуть Эрец-Исраэль, кончилась, и возвращение домой было самым собой разумеющимся для такого владельца цитрусовых садов и хозяйства, как Эфраим.

Поблагодарили людей барона Де-Манше, хозяина столовой, пожали руку директору колледжа, сделали подарки арабке, помогавшей по дому, и почти тут же вычеркнули из памяти эту страницу жизни в Египте.

Только в сердце Герцля жизнь эта осталась, подобно некому зеркалу: тот, кто в нее смотрит – видит. Кто же не видит – для него там ничего и нет.

В 1917 английские войска вошли в Иерусалим, а в 1918 закончилась война, семьи стали разыскивать своих близких, возвращаться и соединяться. Герцлю по возвращению исполнился двадцать один год, и он в совершенстве владел английским и французским, выученными в школе миссионеров в Египте. Войдя в свой двор, Абрамсоны увидели, что из всех построек уцелела лишь конюшня, устроили в ней ночлег и так прожили несколько месяцев, пока не восстановили всё разрушенное.

В первую ночь, затем еще несколько ночей, Герцль вскакивал в постели, пытался вспомнить, в каком месте этой конюшни он застал занимающихся любовью Сарру и Аминадава тринадцать лет назад.

Другая ветвь семьи – Сарра и Аминадав Бен-Цион с детьми – вернулась также домой, в Тель-Авив. Заказали на фабрике Вагнера в Яффо машины для производства кирпичей и строительных блоков и вернулись к делу, которым занимались до войны. Английские власти не ограничивали строительство в Тель-Авиве, и город стал расширяться на восток и на север, так что работы у семьи Бен-Цион было невпроворот. Первенец их Овед стал учеником гимназии «Герцлия», а маленький Эликум пошел в детский сад на улице Иегуды Алеви. Один раз в месяц дед Эфраим приезжал

из мошава с двумя мешками овощей и фруктов, а в канун праздников приезжала Ривка с курами, яйцами, медом и пирогами. Никогда Эфраим и Ривка не приезжали вместе, и только на Песах вся семья собиралась в мошаве на пасхальный седер, в новом доме, построенном на месте старого.

Таким образом, Герцль встречался со своей сестрой и ее мужем один раз в год, и отношения между ними были весьма прохладны, хоть и уважительны. Быть может, годы разлуки привели к этому, а быть может, воспоминание о той встрече в конюшне еще не стерлось из их памяти. И несмотря на то, что теперь они были взрослыми, а может, именно потому — не смогли они найти возможность стереть это воспоминание или обратить его в шутку детских лет.

Крестьяне южных мошавов взяли ссуды в лондонских банках и в отделении англо-палестинского банка в Яффо и начали восстанавливать цитрусовые плантации. Те, у кого не хватало терпения и был пуст карман, обязывались отдавать урожаи на три-пять лет вперед. Эфраим же был осторожен, ибо предвидел будущее, в котором цены на цитрусовые будут расти и расти, и жалко терять эти прибыли.

Когда он попросил в банке ссуду на более долгий срок и на таких же удобных условиях, какие давали кибуцам, ответил ему управляющий банком Залман-Давид Левонтин, что кибуцы получают деньги из особых национальных фондов, ибо они, кибуцники, идеалисты и не жаждут мгновенных прибылей, и вся их цель – обрабатывать землю и создать справедливое общество нового типа.

– С чего это вы взяли? – удивился Эфраим.

– Так они говорят, – ответил господин Левонтин, управляющий англо-палестинским банком.

– А мы, крестьяне, что? – поднял голос Эфраим. – Медлили в дни турецкой власти? Я гоняюсь за прибылью? Взгляните на мои руки, господин Левонтин. Что они в ваших глазах? Руки картежника или что? Что это за вещи вы говорите мне?

Улыбался господин Левонтин и говорил Эфраиму, мол,

такова теперь новая мода: те крестьяне, которые приехали в конце прошлого века, это – крестьяне, как и во всем мире; а вот новые, приехавшие после 1905 и создавшие киббуц Дгания, – идеалисты. И если господин Абрамсон так не считает, он может об этом написать статью в газету.

Разговор этот до того вывел из себя Эфраима, что он решил записать его как первый пункт обсуждения на будущем собрании союза владельцев цитрусовых плантаций. И там, перед своими коллегами, выступил так по этому вопросу:

– Тот, который считает такое положение нормальным, пусть возвращается домой и отдыхает в своей постели. Но тот, кто бдителен в сердце своем, да обратит внимание на это новшество. В чем же оно? Я скажу вам в чем. Человек, которому осточертела жизнь мелкого лавочника, коробейника, маклера, с ее унижениями и ленью, приехал в Эрец-Исраэль, чтобы жить по-человечески, принести в свой дом уважение, растить детей своих свободными и завершить свою жизнь в своем доме и своей постели, короче, быть крестьянином, как все крестьяне в мире. Так, оказывается, он грубая скотина, корыстолюбец и злодей. А те, кто занимался идолопоклонством, социалистической революцией и большевизмом, пока гои не дали им, с позволения сказать, мягко выражаясь, под зад, и они, приехав в Эрец-Исраэль, чтобы жить здесь без хулы и святости и рассказывать нам байки о том, что не нужны им деньги и нет у них стремления к имуществу, и все они такие симпатичные и чистоплюи, существа не от мира

сего, желают добра всему миру при условии, что дадут им ссуду из особых фондов на удобных им условиях, а то и вообще без всяких условий, вот они, эти люди, оказывается, — идеалисты.

Господа, друзья мои, я вам тут заявляю торжественно, что такая штука, коллективная жизнь, вообще не существует и не существовала никогда, это сказочки для дураков, для отвода глаз, чтоб разрушить и уничтожить наш класс, тех, кто обрабатывает землю. Нас и дело нашей жизни, страну эту, которую мы поливаем потом и кровью, возводя ее со времен нашей юности. Смотрите, я предупредил вас, и важно понять это вовремя.

И еще скажу вам, друзья мои, то, о чем я думал ночами, что не дает мне покоя. Этакая идея, что ли. Говорю я себе: ну что можно требовать от человека во плоти и крови? Требовать, чтоб не был бандитом, чтоб работал в поте лица своего, чтобы помогал бедным. Это, в общем-то, человек может выполнить, хотя и с большим трудом. Но прийти к человеку и сказать ему: слушай, друг, с этого дня будешь работать, но за это ничего не получать. Изойдешь потом день-деньской в поле, но вечером не вернешься в свой дом, чтобы получить миску любимого твоего супа, приготовленного умелыми руками жены, а пойдешь, как та корова в коровник, и там получишь корм, одинаковый для всех, выдаваемый порциями на столы коллективной столовой. А после того, как омоешь свою плоть в общей душевой, в присутствии нагих женщин,

извините за выражение, ты не вернешься домой поцеловать на ночь детей своих, а пойдешь в детский дом, и там воспитательница позволит тебе побыть с детьми ровно час или полтора, и затем придешь в пустой свой дом. Я это все изучил основательно после того, как господин Левонтин объяснил мне, что они получают ссуды из особых фондов... Пусть мне сказки не рассказывают. Невозможно это требовать от человека. Да еще надолго. Все это обанкротится, лет через десять, думаю. И тогда не будет тех, кто сможет возратить долги национальным фондам. Что это вообще – национальные фонды? Кто дает в них деньги? Не евреи? Ну и что? А ничего. В один прекрасный день проснется коллективный человек и скажет: надоело. Пойдет он и украдет деньги из общественной кассы. Перестанет работать, начнет обманывать своих товарищей, а они – его. Все вместе будут обманывать народ Израиля, и все это дело исчезнет, как будто его и не было.

Невозможно сказать человеку: не будь человеком. Будь выше его. Будь святым. Будь праведником. От этих бесконечных требований что в результате получится? Одни обманщики и мошенники. Вот, о чем я размышлял ночами, и я говорю вам: мы должны требовать от наших банков те же условия, которые получают кибуцники. Невозможно это требовать от лондонского банка, но от Левонтина следует, а он требование это доведет до сведения сионистского руководства, и увидим, что они решат. Ни за что не отступать,

господа!

Раздались жидкие аплодисменты, но тотчас же воцарилась тишина.

«Они не поняли, подумал про себя Эфраим, да ему и не было столь важно. Свой корабль он умел вести и в бурном море. И если товарищи его не чувствуют приближения шторма, тот душу свою спасет, кто умеет плавать».

На собрании было несколько молодых, которые пересказали своим товарищам то, что говорил Эфраим, слух дошел до Тель-Авива, докатился до людей профсоюзов еврейских рабочих в Эрец-Исраэль, а те рассказали одному из секретарей кибуцного движения. Когда же это дошло до собрания одного из кибуцов в Галилее, явно по испорченному телефону, слова Эфраима обрели совсем другое звучание, и сказано там было, примерно, следующее:

— Как мы учили у Маркса и Борохова, нам известно, что буржуазия организует свои ряды против пролетариата, который делает еще один шаг на пути к освобождению. Поэтому мы не удивляемся тем сообщениям, которые пришли из южных мошавов. Там собираются еврейские кулаки, которые, главным образом, зарабатывают на дешевой арабской рабочей силе, и они готовят планы борьбы с нами. И во главе их стоит некий по имени Абрамович или Рабинович, и нечего нам его бояться. Лет через десять, не более, эти кулаки начнут исчезать. Они не выдержат, ибо нет у них ничего, кроме жажды зарабатывать деньги, а это они могут делать гораздо

успешнее в Америке. Они уедут, и страна эта будет пионером мира истинного социализма.

И если позволено мне процитировать из Танаха, – завершил свою речь оратор, – да осуществится, ибо «из Сиона выйдет Тора», но на этот раз это будет Тора Карла Маркса, которая, кстати, не так далека от Торы Моисея для тех, кто умеет верно читать Танах.

Все это происходило в начале двадцатых годов XX-го века, а к середине двадцатых еврейский ишув в Эрец-Исраэль разделился на два отчетливо отличимых лагеря: буржуа и социалистов. Все остальные в течение следующих лет разделились на тридцать шесть партий, яростно воюющих одна с другой напоказ, а тайком совершающих между собой сделки – и это вовсе не были ростки, а скорее раковые ответвления все тех же двух лагерей: Эфраим Абрамсон – с одной стороны, и Карл Маркс – с другой.

– Говорил я вам, – сказал Эфраим на одном из собраний после двадцати пяти лет. Но товарищи уже и не помнили, что он вообще имеет в виду.

– О чем старик говорит? – пожимали они плечами. – Его же внук ушел в кибуц.

Об этом еще будет рассказано, а пока мы все еще в двадцатых годах.

В один из дней 1921 года Эфраим ехал из мошава в Тель-Авив и, проезжая мимо южных пригородов Яффо, через цитрусовые сады, встретил арабов, и лица их не предвещали ничего хорошего. Сердце подсказало ему, что творятся тут недобрые дела, он сменил путь и осторожно добрался до Тель-Авива через поля Микве-Исраэль.

Войдя в дом Сарры и Аминадава с двумя мешками овощей и фруктов, он нашел их в страшном волнении. Они пытались успокоить сына Оведа, который пошел утром в гимназию «Герцлия» и увидел там людей, собирающихся группами и перешептывающихся, затем принесли тело, завернутое в одеяла, и положили во дворе. Овед испуганно путался в ногах взрослых и увидел учителя Хаима Бреннера, исколотого ножами, с закрытыми глазами, на одеяле, и борода его слиплась от крови. Овед вернулся домой и целый день его рвало. Он жалобно подвывал и не отвечал на обращения к нему.

– Ну, ясно, это погром, – сказал Эфраим, – арабы пытаются сделать с нами то, что делали украинцы и русские.

В тот год евреи в Эрец-Исраэль начали собирать оружие и организовывать самооборону. Старших гимназистов привели к клятве в ночные часы, положив пистолет на Танах. В мошавах крестьяне сами несли охрану, уволив арабских

охранников.

В 1929 году, когда грянул второй погром, шестнадцатилетний Овед уже командовал отделением «Хаганы» и ночами не спал дома, а занимал позиции в домах в конце улицы Яркой, напротив мечети Хасан-Бек, на границе с Яффо. Тогда и произошел случай, когда араб, продающий лед, набросился на извозчика-еврея и начал колоть его штыком. Овед, увидевший это из окна, направил на араба пистолет и убил его. Вернувшись к утру домой, не мог уснуть, но его на этот раз не рвало. Мама позвала его обедать, и он ел, как обычно, в то время как младший брат его, пятнадцатилетний Эликум, чистил его пистолет и увидел, что ствол задымлен.

– Ты стрелял ночью? – удивленно спросил он брата.

– Делай свою работу и не задавай вопросов, – сделал ему выговор Овед. Секретность была главным принципом в «Хагане». Даже Сарра и Аминадав не задавали первенцу своему вопросов.

Овед был талантливым и хватающим все на лету юношей. В гимназию его определили, когда ему еще не было шести лет, потому закончил он ее в семнадцать с половиной, и в 1930 родители послали его в Иерусалим в юридический колледж.

Сарра и Аминадав управляли двумя фабриками: одна выпускала кирпичи и строительные блоки, другая – текстиль. Ясно им было, что из двух сыновей именно Овед может продолжить их дело, был он деловым, прилежным и упорным

в любом деле, за которое брался. С Эликумом же постоянно возникали проблемы. Не то, чтобы, не дай Бог, был слабоумным. Наоборот, читал много книг, посещал спектакли и концерты, но абсолютно не был целеустремленным. Учился плохо. Оценки были позорно низкими. К делам не был приспособлен. Сарра обращалась с ним жестко, укоряя, что заработанные семьей деньги тратятся на учителей, натаскивающих его по разным предметам в дни каникул, чтобы он смог пройти экзамены. У Аминадава же не было времени возиться с сыном, и тот за это ценил его.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.